

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Полоцкий государственный университет»

Романо-германская филология,
Контексты культуры
и литературные связи

Международный сборник научных статей

Новополоцк
2017

Редколлегия:

А.А. Гугнин – доктор филологических наук (отв. ред.);
Д.А. Кондаков – кандидат филологических наук;
Т.М. Гордеенок – кандидат филологических наук;
Р.В. Гуревич – доктор филологических наук;
Г.Н. Ермоленко – доктор филологических наук;
Е.А. Зачевский – доктор филологических наук;
З.И. Третьяк – кандидат филологических наук;
Н.Б. Лысова – кандидат филологических наук;
С.М. Лясевич – кандидат филологических наук;
С.Ф. Мусиенко – доктор филологических наук;
М.Д. Путрова – кандидат филологических наук;
Л.Д. Синькова – доктор филологических наук;
И.А. Чарота – доктор филологических наук.

Рецензенты:

кандидат филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой зарубежной литературы МГЛУ Ю.В. Стулов,
кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой перевода БГУ Д.О. Половцев

Романо-германская филология. Контексты культуры и литературные связи : междунар. сб. науч. ст. / Полоцкий гос. ун-т ; редкол.: А.А. Гугнин (отв. ред.) [и др.] – Новополоцк, 2017. – 352 с.
ISBN 978-985-531-572-9.

В настоящем международном научном сборнике, продолжающем предыдущие издания (2011 и 2013 гг.) кафедры мировой литературы и иностранных языков Полоцкого государственного университета, публикуются статьи по актуальным вопросам романо-германской и славянской филологии, методологии литературоведческих исследований, методике преподавания гуманитарных дисциплин. Особое внимание в данном сборнике уделено проблемам конкретно-исторического изучения литературных взаимосвязей, а также философским, социальным и литературоведческим аспектам изучения проблемы войны и мира.

УДК 82.0(082)
ББК 83.3(4)я43

**РОССИЯ И ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ:
АСПЕКТЫ ПОЭТОЛОГИЧЕСКОГО И ИДЕЙНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ****Р.В. Гуревич***Смоленский государственный университет, Россия*

Россия занимает особое место в становлении И. Бобровского, крупнейшего поэта своего поколения, признанного классиком наряду с П. Целаном и И. Бахман. На это указывал сам Бобровский, неоднократно утверждая в публичных выступлениях и поэтологических текстах, что именно встречи с Россией, русским ландшафтом в 1941 году пробудили в нем желание писать, чтобы запечатлеть бескрайнюю снежную равнину, похожую на море: «Я начал писать в 1941 году на Ильмень-озере о русском пейзаже, но как немец. Из этого выросла тема, что-то вроде «немцы и европейский Восток»¹. Этот пейзаж был ему, выросшему на берегах Немана, хорошо знаком, но здесь он произвел на него «ошеломляющее» впечатление, что объясняется «особыми обстоятельствами», которые привели его, немца, на «русский Восток»². Сюда забросила его, офицера связи фашистского вермахта, война: «Там своими глазами я увидел, что знал из истории о борьбе Германского рыцарского ордена против народов Востока и о прусской восточной политике. Я начал писать только под влиянием этой темы». Выбор «своей», центральной темы он называл «фронтным ранением», не оставившим его в покое³. Давно установлено, что он еще в юности писал стихи, как многие в его возрасте, даже пытался, хотя и безуспешно, их опубликовать⁴. Однако теперь он чувствовал, вероятно, инстинктивно, что в России он стоит перед чем-то новым, что требует иных средств отображения. Пытаясь поэтически приобщиться к теме, он использовал средства оды. Итак, встреча с Россией явилась, по признанию И. Бобровского, тем рычагом, что привел в действие духовно-эстетические силы, сделавшие его впоследствии выдающимся художником слова, сумевшим запечатлеть как горький опыт своего военного поколения, так и историческую память народов европейского Востока. Таков первый аспект проблемы.

Второй аспект касается собственной поэтологии Бобровского: художественной проблематики его поэзии, тем и героев. В «Сарматии» – духовной родине Бобровского-поэта, воскрешается праземля и праистория славянско-балтийско-финских племен; Россия в его поэтической стране является особой зоной, помеченной им самим цифрой 3 на листе, вырванном из географического атласа. Эта земля привольно раскинулась до Урала, а на юге до Черного моря⁵. Мир Сарматии, народы, жившие когда-то там, показаны через призму природного и культурно-исторического ландшафта, канувшего в прошлое. Но в его стихах «время сарматов», повинувшись заклинаниям поэта-певца, снова возрождается. Текут могучие реки, покойно дышат равнина и степь, шумят древние приволжские города, деревни, уходят в даль старинные военные дороги, где «отшагали // народы // свое бесконечное время» («Сарматская равнина». Перевод Георгия Ашкинадзе), поднимаются купола сельских церквей, звучат колокола кафедрального собора в Новгороде, застыло в своем величии Ильмень-озеро. И являются люди – «могучее, лихое племя», под стать мощной цветущей природе: пахарь Микула Селянинович, князь Владимир со своей дружиной, силой крестивший Русь, Стенька Разин, Минин, юная Марфа. А затем, ближе к нашему времени, возникает ландшафт, искалеченный жестокой неразумной деятельностью людей. Дымящиеся деревни и города, разбомбленный купол собора создают фон для трагических фигур нового времени (М. Шагал, партизанка Байла Гельблунг, И. Бабель, Л. Пастернак). Сам поэт присутствует незримо и в то же время вполне осязаемо в окружении своих героев и своего ландшафта: «Китеж-град // купола, // и на улице // там я стою, // близко смотрюсь в тебя, // к тебе подступаю неслышно, // с тобой говорю, // онемев (Пер. В. Куприянова). «В этом ландшафте, – писал известный современный критик Герхард Вольф, – еще живет история как вера и как миф»⁶.

Третьим аспектом «русского» воздействия на Бобровского-художника является присутствие сказа в творчестве Бобровского-прозаика. Его короткие рассказы примыкают к традиции, которую во многом определили такие мастера, как Н.В. Гоголь и Н.С. Лесков. Сказ, повествование, сознательно подчеркивающее свою нелитературную форму, подставной рассказчик, приносящий с собою устную речь – такая повествовательная ориентация составляет сердцевину поэтики прозы Бобровского. Бобровский-писатель ориентировался не только на «большую» традицию сказа, но и на более близких предшественников, он полагал, что находится внутри «треугольника» – Исаак Бабель, Герман Зудерман, Роберт Вальзер. В поэтологическом отношении он воспринял от Бабеля, сохранившего верность причудливому фольклорному миру своего детства и народу, из которого он вышел, пафос восприятия и соединения старого и нового, учился у него, «как нужно говорить, живя в новом и другом мире, о прежнем старом; что можно о нем говорить – а ведь это не самое простое и естественное дело»⁷.

Такова одна сторона проблемы, не менее важной является другая – «русский» след в формировании мировоззренческих основ художника Бобровского. В творчестве И. Бобровского сливаются две, вроде бы, исключаящие друг друга составляющие – эзотеризм, герметизм, проявляющийся в «темном,

сильном, трудном», «зашифрованном» поэтическом языке автора и открытая ангажированность, цель которой воздействовать на людей⁸. Понятие ангажированности литературы ввел в художественный и культурологический контекст в начале 1960-х годов известный философ и культуролог Теодор В. Адорно, полагавший, что ангажированная литература не довольствуется лишь изображением, а хочет влиять, воздействовать. При этом ее воздействие направлено не на отдельные конкретные акции, меры, практические мероприятия, не на выражение точки зрения по спорным вопросам, а на то, чтобы воспитать в читателе определенную позицию, побудить его к определенному поведению; этим она отличается от тенденциозного искусства⁹. И. Бобровский причислял себя именно к таким ангажированным художникам: «До сих пор я писал, исходя из совершенно определенных взглядов и намерений, а это я считаю ангажированностью». Его основная задача – улучшить отношения с восточными соседями: «Мне кажется, что мое объяснение исторически завершенных периодов, имеющих в сознании общественности и теперь невыясненные места – это и есть ангажированная история»¹⁰. Таким образом, он определил и свою точку зрения, и свою цель: показать, как он говорит, многовековую историю, состоящую со времен ордена немецких рыцарей, «из бедствий и вины, лежащих на совести моего народа <...> вероятно, неизгладимой, неискоренимой, но все же требующей честной попытки в немецких стихах <...> сделать вину зримой»¹¹. Ангажированный художник И. Бобровский, понимающий ответственность таланта за судьбы родины и своего народа, не может не писать об этих событиях – ведь он из тех мест, где веками жили многочисленные народы европейского Востока. Он пишет о том, что сам хорошо знает: «Я хочу добиться наибольшей аутентичности, так как считаю, что «подлинные истории» всегда убеждают сильнее, я ведь хочу добиться воздействия на людей»¹².

Поэтологическое и гражданское кредо И. Бобровского выражено столь убедительно, емко и однозначно, что, кажется, было всегда неотъемлемой частью его творческой личности¹³. В действительности этот процесс был длительным и сложным, каждый период его жизни (детство, учеба в гимназии, юность) вносили свой вклад в мироощущение вдумчивого ребенка, затем в формирование взглядов и убеждений подростка и юноши. В данной работе будут показаны, во-первых, основные факторы, повлиявшие на его миропонимание и мировосприятие, на формирование важнейших элементов его мировоззрения. Вторая задача состоит в том, чтобы проследить мировоззренческую эволюцию Бобровского после 1945 года в плену в России.

Исследователи единодушны в том, что на Бобровского, как ни на какого другого художника его поколения оказали решающее влияние в течение всей его жизни два фактора – воспитание (образование) и ландшафт – факторы, вошедшие в его мир в юные годы¹⁴. И. Бобровский родился в небольшом городке Тильзите (в бывшей Восточной Пруссии), недалеко от тогдашней границы с Литвой. Протестантская традиция имела в семье прочные корни¹⁵. Протестантство с его культом семьи и чистоты нравов, строгостью в исполнении долга, пониманием равенства, как равенства всех верующих перед Богом, являлось естественной основой уютной бюргерской атмосферы в доме Бобровских, в котором царили упорядоченность, дружелюбие, открытость. В этот круг отношений, где все были соседями, знакомыми, родней, естественно, просто входили и все те, кто жил на этом небольшом отрезке земли – «поляки, литовцы, русские, немцы и евреи, жившие вместе с ними всеми»¹⁶. Именно в детстве, в своем «происхождении» И. Бобровский видел ростки той любви к народам европейского Востока («Ostenvölker»), которая впоследствии, подкрепляемая все теми же детскими воспоминаниями, станет, как он считает, его «точкой зрения», то есть одним из основных элементов его мировоззрения¹⁷. Впечатления родительского дома расширялись и укреплялись во время поездок мальчика на летние каникулы к бабушке, жившей по ту сторону границы, в литовской деревне Моцишкен. Главное впечатление этого периода – ландшафт и связанная с ним народная поэзия: река Неман; священная гора литовцев Рамбинас – место пребывания древних языческих богов, поклонение которой сохранилось и до настоящего времени, следы древних поселений прущцов. Вместе с литовско-славянским фольклором – преданиями, сказками – в мировосприятие юного Бобровского вошел языческий элемент как живая, пережитая им всею полнотой чувств составная часть человеческого бытия: старые боги не погибли; они дремлют, забытые людьми, которые сохранили лишь их поэтические образы. Языческая мифология, составляющая нижний слой человеческого бытия, постоянно присутствует в произведениях Бобровского как неотъемлемая часть его собственного духовного мира. Атмосферу естественной набожности и открытости миру, определявшей жизнь маленького Иоганнеса, точно передал другой художник, Г. Гессе, выросший в семье, где также царил протестантский дух: «Это был мир немецкой и протестантской чеканки, но открытый для всемирных контактов и перспектив, и это был целый, единый в себе, неповрежденный, здоровый мир, мир без провалов и призрачных завес, гуманный и христианский мир, в котором лес и ручей, косуля и лисица, сосед и тетки составляли столь же необходимую и органичную часть, как Рождество и Пасха, латынь и греческий, как Гёте, Матиас Клаудиус и Эйхендорф»¹⁸. Таким образом, семья и ближайшее окружение, ландшафт родного края пробудили в чутком ребенке ощущение неразрывного единства со всем, что вокруг него, заронили в его душевный мир понимание принадлежности к данному кругу людей, к их чувствам, мыслям,

что составит впоследствии его понимание родины, определили открытость и дружелюбие ко всем окружающим его людям как к добрым соседям.

Кенигсбергская гимназия дала этим мыслям и чувствам четкие духовные, мировоззренческие ориентиры, оснастила его гуманистическим (в том смысле, как это понимал В. Гумбольдт) образованием¹⁹. В гимназии И. Бобровский получил солидные знания в древних языках, развитие богатых мусических способностей; он серьезно занимался музыкой (мечтал стать композитором), рисованием, пробовал свои силы в литературе. Преподавание истории велось с уклоном в краеведение и укрепило интерес подростка к истории края, к древней культуре народов, населявших его. Путешествия во время летних каникул давали возможность непосредственно пережить неяркую, но своеобразную природу побережья, просторы ее равнины, запахи ее лесов – все то, что составит позднее неповторимый ландшафт «сарматской» поэзии Бобровского. А остатки военных укреплений пруссов, могильные курганы, жертвенники языческим богам – следы древних народов, сломленных или загубленных тевтонскими рыцарскими орденами – будоражили душу подростка и, как он писал позднее, формировали стойкое «чувство неприязни» ко всему тому, что связано с их деятельностью, а позднее и с так называемой «культурной миссией Пруссии» по отношению к народам европейского Востока. Гимназические годы – чрезвычайно важный этап в становлении личности И. Бобровского. Мифологический, языческий элемент расширяется в складывающейся системе взглядов и идеалов И. Бобровского за счет включения в его видение мира языческих античных образов. То, что они вошли в его мир на языке оригинала (латинский и греческий), придало им особый смысл и эстетическую значимость как наличному факту определенной культуры. В то же время фольклорный (в будущем – «сарматский») слой обогащается через постижение его сущности, получает форму знания. С другой стороны, данный слой активно переживается И. Бобровским на уровне чувств, симпатий и формирует ценностно-смысловое отношение юного Бобровского к миру. Мировоззренческое оформление языческого образного пласта происходит одновременно с углубленным усвоением христианских ценностей. Этот процесс проходит у юного Бобровского по двум неразрывно связанным друг с другом направлениям: в практической деятельности, во-первых, в рамках молодежной религиозной организации, занимающейся углубленным изучением Библии, затем – в Исповедальной церкви; во-вторых, в теоретическом освоении христианской философии, этики и эстетики (занятия диалектической теологией К. Барта, изучение трудов Гамана и Гердера).

В гимназические годы И. Бобровский – активный участник движения учащейся молодежи по углубленному изучению Библии. «Союз учащейся молодежи, изучающей Библию» («Bund Deutscher Bibelkreise für Schüler»), созданный в Германии в 1883 году, ставил целью своей деятельности моральное совершенствование личности молодого человека через изучение Библии. Серьезное изучение Библии, желание ввести в широкий оборот ее этические ценности привело И. Бобровского к дискуссиям со сверстниками из других социальных слоев, прежде всего – с молодыми рабочими. Эти встречи, разговоры, знакомства, с одной стороны, расширили социально-политический кругозор И. Бобровского, вывели его, как он писал позднее, из замкнутого круга патриархальной идиллии, заставили созерцательного кенигсбергского гимназиста задуматься о вещах, о которых он до сих пор «никогда не думал», таких как «прибавочная стоимость», «процент прироста». Дискуссии с молодыми рабочими об «опиуме для народа» побудили основательно изучать социальные истоки зарождения христианства, «заняться его историей, возникновением первых христианских общин, нагорной проповедью <...> христианство оказалось идеологией бедных»²⁰. В 1934 году «Союз» был официально распущен. Чтобы избежать вступления в Союз гитлеровской молодежи и сохранить верность евангелическим заповедям, 17-летний И. Бобровский переходит в Исповедальную церковь (die Bekennende Kirche), оппозиционно настроенной к нацистской идеологии. Она вела борьбу против государственного управления церкви нацистскими властями, против так называемых «германских христиан»²¹. В 1938 году деятельность Исповедальной церкви была запрещена.

Восемнадцатилетний И. Бобровский, в гимназической характеристике которого отмечалось «серьезное отношение» к вопросам религии и нравственности, а также «ярко выраженное критическое направление ума»²², активно сотрудничал в Исповедальной церкви, был знаком с Гансом-Иоахимом Ивандом, известным кенигсбергским теологом, заложившим теоретические основы Исповедальной церкви в Восточной Пруссии. Личность и труды этого евангелического теолога, подвергавшегося гонениям в гитлеровской Германии (запрет на ведение теологического семинара в Восточной Пруссии в 1937 году, четыре месяца заключения в 1938 году) оказали большое влияние на юного Бобровского.

Вторым направлением в духовно-христианском развитии И. Бобровского было освоение философских идей Гердера и Гамана. С обоими философами он познакомился в возрасте 14–15 лет, чему в большой степени способствовала атмосфера гимназии с ее культом гуманистических традиций и интересом к выдающимся личностям, жившим в Кенигсберге. Однако в выборе именно этих философов (а не, скажем, И. Канта, имя которого носила гимназия и творчество которого было предметом особого почитания) свидетельствовало о самостоятельности оценок и суждений подростка, его духовных предпочтениях

и взглядах. В предпочтении, оказанном юным Бобровским Гердеру и Гаману, следует видеть его протестантскую ориентацию, искавшую опору в духовно-родственных душах обоих протестантских философов, которых к тому же отличало ясно выраженное неприятие прусской (фридрицианской) политики. В трудах Иоганна Готфрида Гердера Бобровский нашел подтверждение и обоснование неосознанных, стихийных чувств протеста, испытанных им при виде остатков древних поселений пруссов. Как должны были отзываться в юном сердце, жаждущем истины, слова Гердера о преступлениях германского ордена по отношению к народам балтийского побережья: «Душа человеческая содрогается при виде крови, пролитой тут во время долгих варварских войн, в результате которых древние пруссы были почти полностью истреблены, куры и летты обращены в рабство, под гнетом которого они страдают до сих пор»²³. Труды Гердера сыграли решающую роль в становлении исторического мышления И. Бобровского, дали толчок формированию у Бобровского нравственной оценки отношения Германии с ее восточными соседями, оценки, которая однозначно выражена в понятии «вина» – центральном понятии в системе этических взглядов зрелого художника Бобровского. Ретроспективная широта исторического взгляда, побуждавшая Бобровского-художника рассматривать любую ситуацию во взаимоотношениях немцев и их восточных соседей как звено в цепи давних связей, отмеченных преступлениями немцев; моральная оценка «восточной» политики Германии, всегда присутствующая в его творчестве, – таков вклад Гердера в систему взглядов, в мироощущение Бобровского.

Влияние Иоганна Георга Гамана иного рода. Для характеристики отношения И. Бобровского к Гаману исследователи употребляют такие выражения, как «типологическое отношение», «средство душ»²⁴, «руководящая фигура в его жизни»²⁵, его «центральное философское небесное светило»²⁶ и т.д. Труды Гамана Бобровский перечитывал постоянно; под огромным влиянием этого религиозного философа складывалась не только картина мира Бобровского, но и самый способ философского и поэтического мышления, основные принципы его поэтики, образный язык. Это дает основание для того, чтобы более подробно остановиться на основных идеях философии Гамана, оригинального и глубокого мыслителя, оказавшего огромное влияние на все литературно-философское движение «Буря и натиск»; высоко ценимого такими разными личностями, как Гёте, Гегель, Шеллинг, Жан-Поль, Гердер²⁷. Выступая с позиций веры, Гаман особое внимание уделял природе и языку (речи) как «комментариям», откровениям божественного бытия. Он обвинял современную ему рационалистическую философию в выхолащивании, «расчленении» природы. Природа «ослепленна» и «изуродована». Задача человека – обрести способность вновь понимать язык природы, который есть шифр, знак, речь бытия (Бога), обращенного к человеку и для человека²⁸. Особое место в философской концепции Гамана отводится слову. Слово, речь, по Гаману, есть единственное средство, связующее человека с бытием, так как бытие открывает себя человеку в слове, как в Слове Священного писания, так и в человеческой речи. Поэтому слово есть основа всего сущего, в том числе и разума, а язык – «единственный, первый и последний орган и критерий разума...»²⁹. Поэтому настоящие поэты – всегда пророки своих народов, обладающие божественным даром понять бытие³⁰. Но слово есть не только средство для того, чтобы вырваться из замкнутого круга своей мелочной жизни и приблизиться к бытию; слово – это единственный способ вступить в связь с другими. Оно и было создано как речь одного существа к другому и через другого³¹. Слово, по Гаману, – это возможность «я» выразить самого себя, а потому: «Говори так, чтобы я видел тебя». Это «оклик», весть, зов «я», обращенный к «ты». Анализ творчества И. Бобровского убеждает в том, как сильно повлияли на него философско-эстетические взгляды Гамана. Нас, однако, не может не заинтересовать сам факт обращения пятнадцатилетнего подростка к комплексу сложных идей, высказанных к тому же «зашифрованно», «темно», «эзотерически»³². Трудно с определенностью сказать, в какой степени были восприняты юным Бобровским глубокие воззрения философа. Однако сам интерес подростка к такого рода самостоятельным философским штудиям был подготовлен протестантским воспитанием, углубленным чтением Библии, привившим ему вкус к символу, аллегории, поиску сокрытой истины за внешней понятной и доступной словесной оболочкой. Пытаясь объяснить достаточно необычное для данного возраста увлечение Гаманом, исследователи считают его результатом процесса самопознания становящейся личности, личности, искавшей в то смутное время положительные ориентиры в жизни и открывшей их для себя в гамановской идее Христа, спасителя как всего земного, так и единичного человеческого существования. К этому следует, на наш взгляд, добавить и то, что Гаман мог привлечь пятнадцатилетнего подростка исповедальным тоном своих сочинений, ярким изображением несовершенства человеческой природы, обуреваемой страстями, разрывающейся противоречивыми чувствами. Юный Бобровский нашел в афоризмах Гамана и откровение мятущегося сердца (по силе изображения не уступающего знаменитой проповеди Руссо), и путь для укрощения и совершенства человека – веру в Бога. Избранному им в юности пути он остался верен всю жизнь³³. Понятно, что такая сильная, самобытная личность, как Бобровский, не могла просто ученически усваивать идеи, постулаты философских учений. Он вступал с ними в диалог, как равноправный партнер, проецируя позднее на них свой нелегкий жизненный опыт, свое знание других мировоззренческих систем. Гаман навсегда станет для него живым примером хрис-

тианина, для которого жизнь и мир несовершенного человека есть то единственное место, где следует реализовать в своей деятельности эти принципы и идеалы. Картина мира, сформировавшаяся у юного Бобровского, была, таким образом, сплавом античной, немецкой и протестантской духовности. При этом протестантство было цементирующей основой, определившей его убеждения и эмоционально психологическое отношение к окружающему. Мистически окрашенная протестантская набожность, религиозный гуманизм обеспечили ему идейно-нравственную защиту от воздействия человеконенавистнической расовой идеологии, сделали невосприимчивым к демагогии, к культуре насилия, к романтизированным идеалам солдата, завоевателя и авантюриста. Протестантско-мистический уклон воспитал в нем созерцательное отношение, способность отгородиться от реального мира, уйти в глубины духовной внутренней жизни. Он жил в «крепости сокровенной глубины души и сердца» («Burg der Innerlichkeit», Э. Хауфе)³⁴. Т. Манн определил трудно переводимое слово «Innerlichkeit» как религиозную самоуглубленность, с которой связаны нежность, глубина душевной жизни, отсутствие суетности, благоговейное отношение к природе, бесхитростная честность мысли и совести³⁵.

Война не вывела его из этого душевного состояния, а еще более укрепила в стремлении жить в «двоemiрии». Тому способствовали особые условия его военной службы: он был связистом, его полк не вступал в прямой контакт с боевыми частями на передовой, его деятельность протекала за линией фронта. Он принимал участие в польской и французской военных кампаниях, но не был прямым участником боевых действий. Он видел страшные следы войны в России, но воспринимал происходящее в рамках своего религиозно-гуманистического мировоззрения. «Ошеломляющим впечатлением», о котором он писал позднее в цитированных ранее строках, стало для него столкновение величественного российского пейзажа, изувеченного войной культурно-исторического ландшафта с бездушной милитаристской цивилизацией. Безмерность, бескрайность русской равнины поразила одаренного юношу и требовала воплощения. После многочисленных попыток (рисунок, проза) он выражает свое впечатление в греческой оде, в ее «онемеченном» варианте, введенном в немецкую литературу В.Г. Клопштоком и Ф. Гёльдерлином. Так в 1941–1943 годах появились его «элегические оды» (Д. Дескау)³⁶: «Призыв» («Anruf»), «Псков» («Pleskau»), «Кладбище» («Friedhof»), «Вечер» («Abend»), «Монастырская церковь» («Klosterkirche») и другие. Некоторые из них были опубликованы в 1944 в мюнхенском журнале «Царство духа» («Das Innere Reich»). В них все атрибуты элегического мироощущения: печаль, тоскливое настроение мрачного, одинокого сердца на фоне ландшафта, также соответствующего подобному мировосприятию – вечерний сумрак, кладбищенский крест, разрушенный собор. В одах поэт скорбит о тяготах и бремени войны, в них нет ничего, что свидетельствовало бы о нацистской идеологии, но нет следов и другой позиции: возмущение злодеяниями тех, кто принес гибель и горе, кто разрушил этот когда-то цветущий край. «Элегическая ода» стала поэтическим выражением его нравственно-эстетической рефлексии на войну в России, дала возможность передать возвышенную скорбь и печаль, а также бессилие человека и природы противостоять натиску разрушения. Можно сказать, что он, с одной стороны, «нащупал» настоящую большую тему. С другой стороны, на данном этапе он дошел до границ своего поэтического развития. Идя дальше в том же направлении, он, видимо, продолжал бы совершенствоваться и оттачивать свое техническое мастерство, добываясь виртуозности. Но как художник он остался бы только в тени других больших поэтов, писавших оды в 1930^e–1940^e годы (Фридрих Юнгер, Георг фон Вринг), одним из многих даровитых эпигонов. Необходимо было еще одно потрясение, которое заставило бы начинающего поэта покинуть крепость «задушевной созерцательности» (Innerlichkeit), спуститься из высоких эмпирей на землю. Сама жизнь определила его в суровую, подчас жестокую школу, расставившую по местам все истинные ценности.

Восьмого мая 1945 года штабсфельдфебель И. Бобровский попадает в плен, а спустя месяц в лагерь военнопленных в Новошахтинске в Донецкой области. Здесь он работал сначала забойщиком под землей, но спустя несколько недель из-за болезни сердца его перевели на погрузочную, наземную работу. Летом 1946 года он занят на стройке в степи; летом 1947 проводит три месяца в антифашистской школе в Ростове-на-Дону, с лета 1948 в лагере в Новочеркасске он занят на подсобных работах надземного строительства и в шахте. Все эти годы он активно участвует в работе агитбригады («Kulturbrigade»). В апреле 1949 его отправляют на девять месяцев в антифашистскую школу в Талице под Горький (ныне Нижний Новгород). Он член лагерного комитета, режиссер театральных постановок. В декабре (24.12) 1949 года Бобровский возвращается в Германию, в Берлин – Фридрихсхаген³⁷. В плену в России он провел четыре с половиной года. Это было тяжелое время в жизни всей страны, только-только вернувшейся к мирному труду, страны, разоренной войной, потерявшей миллионы людей; страны, жившей по продовольственным карточкам, дававшим весьма скудный прожиточный минимум. Послевоенный Донбасс, где находился лагерь Бобровского, был в числе областей, наиболее пострадавших в ходе кровопролитных боев и немецкой оккупации. О жизни в лагере И. Бобровский оставил записки «Первые годы плена» («Die ersten Jahre der Gefangenschaft», 1950), написанные по горячим следам. По жанру они представляют смешанную форму между сообщением, размышлениями и повествованием. В целом в тексте преобладает

тип высказывания с доминирующей информационной функцией; однако в нем есть и описания, и характеристики (образы-рассуждения)³⁸, цель которых объяснить и раскрыть характеры важных для автора действующих лиц. Что побудило Бобровского написать сообщение? Видимо, основной причиной был его особый склад ума, постоянная тяга к самоанализу³⁹. Среда и окружение, новые, зачастую не вполне ясные реалии, в которых ему, привыкшему к четким философским категориям, необходимо было разобраться – все давало пищу для оценки и размышлений. Повествование ведется от третьего лица и подчеркивает отстраненность автора, лишь в одном месте местоимение «он» сменяется на «я»⁴⁰. Текст представляет интерес в силу своей необработанности, так сказать, первичности, придающей ему особую аутентичность. В то же время подчеркнутая информативность излагаемых событий дает возможность автору не выходить за рамки излагаемых событий, не ставить прямого вопроса: «Кто виноват», вопроса, составившего позднее основу его «генеральной» темы о взаимоотношении немцев с их восточными соседями в Европе.

И. Бобровский находился в лагере, основной состав которого был сформирован не из частей, действовавших на передовой, а из военнослужащих, военных чиновников. Они были связистами, служили при штабе, в военных конторах и кабинетах, обслуживали телетайпы и коммутаторы, то есть всегда находились в тылу. Если они до армии, пишет Бобровский, не были чиновниками и служащими, то во время своей военной службы становились таковыми. Такие военнопленные были большей частью выходцами из буржуазной и мелкобуржуазной среды. Это были типичные приспособленцы, способные «качнуться» в любую сторону: они могли, замечает Бобровский, либо отмежеваться, либо примкнуть к нацизму, к циничным почитателям и коллекционерам стихийного в духе Юнгера, «они могли и пополнить ряды отчаявшихся, тех, кто брезгливо уклонялся от любой деятельности, либо, утратив всякие ориентиры, стать изолированной, враждебной группой»⁴¹.

В таких местах текста голос Бобровского обретает гражданские ноты, поднимает сухое, фактическое сообщение до уровня обличительного повествования. Именно здесь обнаруживаются ростки «ангажированной» позиции будущего художника, указывающего на извечные проблемы немецкого бюргерства – отсутствие политической воли у образованного большинства, не сумевшего дать отпор общественному злу. Он дает яркую и точную характеристику этим людям, не участвовавшим в боевых действиях, никогда не удалявшимся от штаба более, чем на километр, имевших единственного противника – партизан, которых они продолжали и теперь в лагере считать «противозаконными участниками военных действий». Что с того, продолжает свои рассуждения Бобровский, что большинству из них были отвратительны нацистские лозунги. У них никогда не хватало ни ответственности, ни мужества заглянуть в будущее, «в жуткое пламя ада, разожженного нацизмом, в «новый порядок» в Европе, который «завтра» должен был быть во всем мире»⁴². Лучшие из них старались держаться в стороне, даже стремились к личному совершенствованию, но предпочитали закрывать глаза на то, что происходило в реальности. Вывод Бобровского суров, но справедлив: это позиция образованных мещан с их стремлением к более налаженному устройству своего жизненного уклада и к некой романтичности; желанием переждать исторические события в каком-нибудь «укрытом от ветров действительности идиллическом уголке»⁴³. Они воспринимали жизнь в лагере и «бесчеловечную работу» как страшную несправедливость, но только «... каждодневный строгий распорядок, необходимость борьбы за существование, наконец, первые робко пробившиеся ростки трудового героизма, которые уже везде были заметны на производстве, могли из них сделать то, от чего они все время пытались уклониться, – стать людьми»⁴⁴. Однако для такого понимания необходимо было время, часто годы, и, конечно, воля и желание трудиться. Между тем серьезной проблемой для большинства из них было преодоление комплекса национального превосходства. Работу на «русских» они воспринимали не только как несправедливость, но и как национальное предательство, «поддержку врага». Но за такой позицией часто скрывалась, замечает Бобровский, обычная лень. И. Бобровский изобличает то, что ему доподлинно известно. Он и сам вышел из обеспеченной бюргерской среды; ему также были не чужды созерцательная позиция, желание укрыться от отвратительной «коричневой» всепроникающей идеологии в царстве духа, в крепости «проникновенной души» (Innerlichkeit) – в сниженном, примитивном варианте он находит подобные качества в «чиновничьей» прослойке пленных земляков и жестко осуждает их. Это была попытка покинуть и свою собственную «крепость», выйти в суровый мир; он сам никогда не уклонялся от самого тяжелого труда ни в шахте, ни на стройке, ни в транспортной бригаде.

С не меньшей иронией и сарказмом Бобровский воспринимает военнопленных офицеров. У него и раньше никогда не было иллюзий относительно военной касты, всегда окруженной в Германии особым ореолом. В лагере нельзя было прятаться за приказы, окружить себя их исполнителями – человек был гол. Тогда оказывалось, что мундир – всего-навсего одежда, прикрывавшая человека, зачастую весьма сомнительных качеств. Среди множества офицеров, пишет Бобровский, «можно было по пальцам пересчитать тех, кто заслуживал бы если не уважения, то хотя бы не презрения»⁴⁵. Заслуживавших полного уважения он насчитал всего двоих, и оба были резервистами. Остальные вскоре слились со всей лагерной

массой и ничем не отличались от нее. Их общий настрой был тот же: выжить любой ценой. Поэтому предавались забвению не только офицерская честь и достоинство, но и элементарная повседневная выдержка и дисциплина. По свидетельству Бобровского, нигде не было столько плаксивых симулянтов, воров, доносчиков, как среди офицеров. Он не жалеет красок, описывая их кастовое чванство и внутреннюю пустоту. Поначалу они, привыкшие к денщикам, к командному тону, попытались было восстановить военную субординацию в лагере, но такие попытки оказались бесплодными. Вскоре их мундиры обносились и потребовалась срочная замена; ее обеспечили склады, где хранилась, иронизирует Бобровский, пусть не столь репрезентативная, уже отслужившая свое, но гораздо более теплая и прочная одежда Красной армии, а также то, что доставлялось «по случаю» – нацистские блузы, итальянские шинели. Экипированные таким образом офицеры выглядели как участники какого-то «странного карнавала»⁴⁶. Художник Бобровский создал скупыми средствами сообщения и описания емкий гротескный образ исторического маскарада, где бывшие спесивые завоеватели, спасаясь от русских холодов, донашивали одежду тех, кого считали «недочеловеками». Такова безжалостная ирония истории.

Совместное проживание в лагере военнопленных разных национальностей (венгров, румын, немцев) заставляет Бобровского, выросшего в области и семье, где жили по соседству разные народности, осмыслить постоянные конфликты, вспыхивавшие между бывшими союзниками вермахта. Особенно острыми были стычки между венграми и немцами, бесконечные, нескончаемые споры за работу, одежду, еду, размещение, лечение в лазарете, посещение театра и так далее. Каждый день, с горечью замечает Бобровский, вносил свою лепту в недоверие. Он был всегда склонен приписывать большую часть вины своим землякам. Ему доставляло особое удовольствие показать своим товарищам, чего стоит их немецкая «человечность», если в общении с мадьярами они лишь «лукаво снисходят» до разговора с ними⁴⁷. Бобровский понимает, каким тяжелым будет путь к всеобщему взаимопониманию, если даже на этом клочке чужой земли, люди, ничего не имея, не могут добиться согласия между собой.

Заниматься воспитанием военнопленных, дать им направление и руководство, был призван антифашистский актив лагеря, так как эту работу, как правило, лагерная администрация вела через антифашистские лагерные комитеты, бригады по культурно-массовой работе («Kulturbrigaden»). Бывшие военнопленные, ставшие позднее известными писателями, оставили свидетельства такого «перевоспитания» немецкого солдата. К ним относятся Г. Кант, Г.В. Рихтер и другие. Г. Кант неоднократно ссылался на «благословенный и проклятый плен» как «педагогическую провинцию» своего героя Марка Нибура («Остановка в пути», «Aufenthalt», 1976) и в своих воспоминаниях. Однако и он, и другие политически сознательные пленные многое сами сделали для этого. В лагере Бобровского, судя по его записям, не было таких, какие, подобно Г. Канту («агитатор, горлан, главарь») могли «вскочить на скамейку», убеждать других и быть готовым пустить в ход кулаки, защищая свои аргументы, добиваясь, чтобы поляки не считали военнопленных военными преступниками⁴⁸. Постепенно актив стал формой лагерного самоуправления. С другой стороны, в лагере Бобровского не было и откровенных нацистов, создавших, например, за океаном в лагере, где был Г.В. Рихтер, настоящее лагерное гестапо, истязавшее и даже убивавшее инакомыслящих⁴⁹. Здесь была другая ситуация. Подавляющее число «чиновничьей», мелкобуржуазной массы порождала почву для процветания «рыцарей конъюнктуры», «лагерной буржуазии», использовавших слово «антифашист» для того, чтобы установить свою неограниченную диктатуру, чтобы избивать непокорных. Прошло немало времени, прежде чем «подавленная масса» военнопленных поняла, что такие методы ни в малейшей мере не исходили от советского руководства, они не были «ни ее целью, ни общим направлением работы», что инициатива исходила от так называемых антифашистов. Однако этого времени было достаточно, пишет Бобровский, чтобы новоявленный «антифашистский» актив занял теплые местечки мастеров в лагерных мастерских, заведующих складами, санитаров, бригадиров и прочее⁵⁰. Только криминальные «гешефты» заставили лагерное руководство удалить их с постов. Бобровский подчеркивает, что к таким «антифашистам» презрительно относились и пленные, и советская администрация. Были среди них и отдельные честные люди, но им не хватало ни мужества, ни воли противостоять общему направлению и отстаивать справедливые интересы большинства. В этом отношении показательны эпизоды, связанные с отправкой пленных на родину. Из воспоминаний Г. Канта видно, как действовал подлинный антифашистский актив. Были составлены и оглашены списки, первым транспортом уезжали пленные с хроническими заболеваниями. Сам Г. Кант, один из создателей и активный член антифашистского комитета, уехал из Польши вторым транспортом (декабрь 1949) по настоянию врачей, так как у него обнаружили пятно в легких. Другие члены комитета покинули лагерь последними спустя полгода. Совсем иной оборот принял отъезд пленных в лагере Бобровского; «так называемый» лагерный актив, как их именуется Бобровский, не владел информацией, настроения пленных, подпитывались слухами. Известие о том, что отправляющийся в Германию транспорт возьмет хронических больных, повлекло за собой вал хронических заболеваний, источником которых являлись сами пленные. В ходу были разные рецепты: от глотания окурков до выпивания собственной мочи; обморочное состояние достигалось с помощью поглощения большого количества очисток и запивания их несколькими литрами

теплой воды. Вокруг первого транспорта плелись интриги, были доносы, попытки шантажа, лазарет был переполнен, приходил конец дружеским отношениям, возникала смертельная вражда, длившаяся потом годами. Затем выяснилось, что транспорты отвозят пленных регулярно, и все уедут домой. Только тогда «жажда самоуничтожения» (Бобровский) сошла на нет, но ее жертвы, «самоубийцы», иронизирует Бобровский, могли в Германии извлекать из своего жалкого вида, до которого они сами довели себя, немалую пользу, «выбивая» сострадание из сердец земляков: «мы, де, еще выбрались, правда, навсегда обреченные нести на себе печать плена, а вот другие...»⁵¹

Как видно, осмысление каждодневных забот выводило человека такого склада ума, как Бобровский, на размышления о больших проблемах – он их отразит позднее в своем творчестве. В то же время он, за плечами которого был один семестр изучения искусствоведения в Берлине (1941/42), проходит в лагере военнопленных свои «университеты жизни». Он, всегда занятый высокими идеями философии и искусства, никогда прежде не обременял себя мелочами быта (забота о постельном белье, обувь, отправление писем, покупка почтовых марок, заполнение анкет). Все делали для него, обладавшего подлинным талантом дружить, его сослуживцы. Здесь в Донбассе он быстро привык к тяжелому шахтерскому труду под землей, шахта не внушала ему, как многим другим, страха. Спустя всего несколько дней, он легко ориентировался в темноте, возвращаясь со сменой к подъемнику по длинным штрекам, обходя лужи, иногда с перегоревшей лампой. Он умел сохранять хладнокровие в опасных ситуациях, он вообще оказался, что называется, «жизнедостойным». Однако Бобровский делал все, что требовалось, автоматически, «как во сне», ибо его часто охватывало в первые недели чувство пугающей неопределенности, «... словно он плывет ночью по реке, берегов не видно, а на небе нет даже звезд...»⁵². Так длилось, пока он не нашел дружеский круг близких по духу людей, хранивших те же воспоминания прошлого. Этот круг образовал костяк «культурной бригады», вносящей, по Бобровскому, «пусть поначалу примитивными средствами и дарованиями <...> подлинный вклад в то «очеловечивание отношений», которое, по Вильгельму Гумбольдту, означает само понятие культуры»⁵³.

Для И. Бобровского «гуманизация отношений» началась с чтения стихов самых разных поэтов, он их знал наизусть великое множество из трех веков немецкой литературы. К этому времени после госпиталя по состоянию здоровья его направили на наземные работы в транспортную бригаду. В перерывах, читая стихи старых и современных поэтов (Гёте, Рильке, Клопшток, Лёрке, Дойблер), он обратил внимание на то, как слушали простые люди, рабочие, ремесленники. Среди стихов были и такие, какие он и сам не до конца понимал, а запоминал ради непривычного звукового строя. Оказалось, что и они, люди практической жизни, воспринимали подобную поэзию так же, как и он. Это трогало, волновало его, побуждало к размышлению: выходило так, что стихи, до конца неясные по смыслу, «темные», «тяжелые», но облеченные в особую ритмико-звуковую форму, обретают какую-то завораживающую силу. Он стал членом «культурной бригады», писал куплеты, комментарии, шутки, создававшие настроение в зале. Конференс сделал его известным и даже популярным в лагере, но сам Бобровский, человек поэтически одаренный, имевший достаточную музыкальную подготовку, весьма критически воспринимал программы культурбригады (ее техническое оснащение зачастую самодельными инструментами, репертуар, часто «казарменный» уровень юмора). Однако «бригада» стала уже неотъемлемой частью жизни лагеря, ее выступлений ждали, а для самого Бобровского она была своеобразной отдушиной, кругом более или менее близких ему людей, своего рода способом самосохранения.

Для нас представляют особый интерес впечатления и размышления его о «русских», заложившие затем основы его «сарматской» лирики. Россию и русских он, начитанный молодой человек, знал по стихам Р.М. Рильке, книгам Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Встреча с «русскими» в Донбассе внесла коррективы в его «книжные» представления. На наземных работах в огромной шахте, носившей в народе прозвище ОГПУ («О, господи, помоги удрать») он работал с гражданским населением, большинство из которых составляли заключенные, отбывавшие разные сроки. Понятно, что обнаружить здесь Каратаевых и Мышкиных в чистом виде было трудно. Кроме того, общая неустроенность первых лет послевоенной жизни, дефицит самых необходимых товаров, жесткие условия тяжелого труда создавали и специфическую атмосферу общения. Бобровский пишет об этом ничего не замалчивая и не приукрашивая, утверждая, что «честность только тогда есть честность, если она сопряжена с волей – обновить до основания сам образ человечества, сделать его лучше и правильнее»⁵⁴. Его поразили своим невиданным «размахом» воровство, площадная брань, рукоприкладство⁵⁵. Исходя из этого, военнопленные делали свои выводы о таком общественном порядке, где «народная собственность» становилась ничейной, а потому шла «вразнос». Позднее многое изменилось, и они могли, пишет Бобровский, по-новому оценить значение и ценность такого общественного устройства, но до того времени «старая германская надменность со страстью и жаром кормилась подобными впечатлениями». Эти взгляды у определенной части остались и тогда, когда жизнь населения спустя всего два года после окончания войны «вдруг» неожиданно поднялась «до уровня, который трудно было себе представить, когда выросли великолепные пред-

приятя, появились улицы, школы, дома...⁵⁶ Бобровский хорошо понимал, как трудно преодолеть преубеждения, как непросто рождаются новые отношения.

Размышления Бобровского о парадоксах русского характера выдают в нем человека незаурядного масштаба, его мышление трудно «сбить» в сторону хаотичностью «броуновского движения» повседневности. Ему дано увидеть подлинное за уродливыми и отвратительными деталями. Ничто не проходит мимо его внимательного взгляда. Он не без удивления открывает, что «русские» (и офицеры, и работающие рядом с ним люди) отдают должное немецкому солдату как достойному противнику, не держат на него зла. Полуголодные, одетые кое-как люди исполнены национальной гордости за свой народ. Он приходит к выводу, что писатели, книги которых он хорошо знал, оказались правы в оценке русского национального характера. В юности он много читал Л.Н. Толстого и особенно Ф.М. Достоевского, даже пытался учить русский язык, правда безуспешно. Он вспоминает, что в те времена в литературных дискуссиях много говорилось о сплаве диаметрально противоположных свойств, живущих в непонятной натуре этого народа: льющаяся через край доброта и дикая жестокость, жуткое коварство и ничем незамутненная детская наивность. Ему, воспитанному на классической мере и вкусе, эти образы русской литературы казались «помпезным художественным преувеличением». И вот теперь, в послевоенном Донбассе, среди мата, рукоприкладства и воровства он приходит к заключению, что по большому счету великие писатели сказали правду о загадочной русской душе. При условии, если все богатство образов свести к простой житейской формуле; если также принять во внимание, что его лагерь находился в местах ссылки всякого люда в старой России, как это было когда-то в Австралии. Да, пишет он, от русских он каждодневно видел «подлость, ложь и жестокость, но одновременно столько же сердечности, готовности помочь и совсем неожиданно такие знаки дружеского участия, какие он никогда не встретил бы в своем отечестве»⁵⁷. Он мог бы привести бесчисленное количество примеров: как рабочие делили с ним последний хлеб и махорку, зная, что на завтра у них нет ничего; как девушки рвали на себе рубашку, чтобы перевязать ему какую-то пустячную рану и т.д. На примере «русских» он особенно четко осознал, что люди – не простые арифметические задачки, а народы не простые конструкции. Для их «очеловечивания», перевоспитания нужны огромные усилия, понимание психологии, истории и современности. Было еще одно место, лазарет, где он постоянно сталкивался с «русскими» – врачом, медсестрами. Его здоровье часто давало сбои: сердце, признаки водянки, миокардит, фурункулез. После первого же серьезного недомогания с сердцем, случившимся на шахте после нескольких недель работы, он отметил, как здесь внимательно относятся к больным. Усталая пожилая женщина-врач неоднократно появляется в его сообщениях. Она и медсестры работала в лазарете, переполненном то больными, а то и симулянтами, самоотверженно выхаживая своих пациентов.

Находясь в непосредственной близости от событий, происходивших у него на глазах, пытаюсь объективно разобраться и понять их. Бобровский часто не находил ответа на возникавшие у него сомнения. Он хотел, но не мог обнаружить вокруг себя тот тип изменения сознания, понимаемого как морально-политическое единство взглядов, которое было бы признаком подлинно нового общества. Он пытался обрести эту цельность взглядов, читая газеты для военнопленных, поступавшие в лагерь, статьи Ленина. На первый взгляд, они трактовали историю научно и убедительно, но его не оставляла в покое мысль об упрощенном понимании человека и общества в излагаемых идеях. Он, хорошо знавший мировую историю и философию, был не готов принять учение о «революции как дело тактики, земное счастье, а значит, и различные искусства как вопрос партийности, а ненависть и предательство как героизм, если они свершались, исходя из классовых интересов»⁵⁸.

Записки Бобровского прерываются на том отрезке его жизни, когда его отправляют на три месяца в антифашистскую школу в Ростов (1947). Можно лишь предполагать, почему он оставил за рамками описания как ростовский период, так и девятимесячную антифашистскую школу в Талице (1949). Известно лишь из его письма одному из своих друзей, что он вернулся из плена домой коммунистом. Позднее он никогда не опровергал и не подтверждал эти слова, хотя спустя год (1950) сообщал тому же адресату, что вернулся к своим прежним «метафизическим склонностям»⁵⁹. Он стал членом ХДС, всегда признавал себя сторонником социалистического общества в ГДР и никогда не собирался покинуть республику, несмотря на славу, окружавшую его в последние годы жизни и заманчивые предложения, поступавшие с Запада. Христианин, живущий и работающий в социалистической Германии, ангажированный художник слова, призывавший к ответственности за историческое поведение нации и народа, – таким ощущал себя И. Бобровский. Спустя два года после плена он вернулся к ландшафту, «ошеломившему» его в 1941 году. В 1952 году появилось первое стихотворение, которое и он сам, и исследователи считают началом подлинной «сарматской» лирики. В переработанном варианте оно вошло во второй сборник поэта «Земля рек и теней» («Schattenland Ströme», 1962) под заголовком «Под краем ночи» («Unter dem Nachtrand»). Так замкнулся поэтологический круг встречи с «ошеломившим» его русским ландшафтом.

В отпущенный ему земной срок (сорок восемь лет) И. Бобровский пережил и испытал то, чего с лихвой хватило бы на несколько жизней. Интеллектуал высокой пробы, обитавший в горних высях европейской поэзии и христианской набожности, он вынужден был участвовать в войнах на стороне тех, кто убивал во имя ненависти и мракобесия. Война в России, встреча с ландшафтом, одновременно и пугающим, и притягивающим своим могущественным простором; русский плен с его тяготами, проверкой человека на прочность; большие проблемы, обдуманые им на примерах лагерной жизни; сами «русские», такие чуждые «внешнему» взору европейца, но раскрывающие свою глубину и человечность тому, кто с ними рядом, – все это вошло в жизнь и поэтику И. Бобровского. Более того, стало его судьбой, ибо талант, утверждает Т. Манн, «есть способность обрести собственную судьбу». Но чья жизнь достойна называться судьбой? Отвечая на этот вопрос, Т. Манн подчеркивает, что ум, восприимчивость и чувство любую жизнь превращают в нечто интересное для других, в поэтическое произведение. «Автобиографический импульс», считал он, выше «импульса чисто поэтического», часто оказывающегося самообманом⁶⁰.

Жизнь писала биографию И. Бобровского, а вот свою судьбу он делал сам. Судьба Бобровского – это судьба человека духа XX века, часто вынужденного жить в бездуховном мире. И как человек, и как художник он показал, как должно вести себя в такой ситуации. Герой его посмертно опубликованного романа «Литовские клавиры», учитель Пошка, пытался сначала, как и сам автор, скрыться от воинственных обывателей на некой «тригонометрической вышке», где он, паря над духовно одичавшей действительностью, прозевал прошлое. В конце повествования Пошка покидает свою «вышку» со словами: «Уходить в прошлое больше нельзя <...> звать людей сюда. Сюда, где мы есть, в наше настоящее»⁶¹. Эти слова можно считать духовным завещанием самого И. Бобровского.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Теоретические высказывания И. Бобровского, статьи и интервью даются по: Bobrowski Johannes. *Gesammelte Werke: In 6 Bänden. Band 4. Die Erzählungen. Vermischte Prosa und Selbstbezeugnisse*. Кроме специально указанных мест, перевод наш – П.Г. Здесь: Bobrowski, Johannes. *Notiz für Hans Bender Antologie*. – А.а. О. – S. 335.

² Bobrowski, Johannes. *Meinen Landsleuten erzählen, was sie nicht wissen*. – А.а. О. – S. 480.

³ См.: Bobrowski, Johannes. *Ansichten und Absichten*. – А.а. О. – S. 471.

⁴ См.: Haufe, Eberhard. *Zur Entwicklung der sarmatischen Lyrik Bobrowskis. 1941–1961 // Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther Universität Halle // Wittenberg XXIV*. – 1975. – Heft I. – S. 54.

⁵ См.: Wolf, Gerhard. *Beschreibung eines Zimmers. 15 Kapitel über Johannes Bobrowski*. – В.: Union, 1973. – S. 17.

⁶ Ibid. P. 83.

⁷ См.: Haufe, Eberhard. *Einleitung zu Leben und Werk Johannes Bobrowski // Bobrowski Johannes. Gesammelte Werke in 6 Bänden. B. I*. – S. LXIX.

⁸ Об этом свидетельствуют, в частности, заглавия исследований авторитетных авторов: Вольфрам Маузер «Закливание и и размышление» («Beschwörung und Reflexion», 1970), Дагмар Дескау: «Эзотерика и ангажированность» («Dunkelheit und Engagement», 1973).

⁹ Adorno, Theodor W. *Noten zur Literatur. III*. – Frankfurt: M. Suhrkamp, 1965. – S. 113.

¹⁰ Formen, Fabel, Engagement // Bobrowski, Johannes. *Gesammelte Werke, B. 4*. – S. 497.

¹¹ *Meinen Landsleuten erzählen, was sie nicht wissen*. – Ibid. – S. 481.

¹² *Benannte Schuld – gebannte Schuld? // Johannes Bobrowski. Gesammelte Werke. B. 4*. -- S. 447.

¹³ Такое же впечатление суверенности и «прямолинейности» целенаправленного художественного развития вызвал и его первый сборник «Время сарматов» («Die sarmatische Zeit», 1961). Однако исследователи (Э. Хауфе, В. Ляйтнер и др.) показали долгий и непростой путь становления И. Бобровского как художника.

¹⁴ См., в частности: Haufe, Eberhard. *Einleitung*. – А.а.О. – S. IX.

¹⁵ Она поддерживалась женской линией: мать отца вела свой род от эмигрантов-гугенотов; бабушка со стороны матери была из баптистской семьи.

¹⁶ Bobrowski, Johannes. *Notiz für Hans Bender. Antologie // Johannes Bobrowski. Gesammelte Werke. B. 4*. – S. 335.

¹⁷ См.: Bobrowski, Johannes. *3 Gesichtspunkte*. – А.а.О. – S. 336.

¹⁸ Цит. по: Аверинцев С.С. *Путь Германа Гессе // Г. Гессе. Избранное. М.: Худож. лит-ра, 1977*. – С. 7.

¹⁹ В отличие от большинства известных немецких деятелей культуры, у которых годы учения оставили тяжелый след в их жизни (братья Манны, Г. Гессе, Л. Франк, Г. Фаллада, И.П. Бехер, Э.М. Ремарк и др.), И. Бобровский всегда сохранял благодарную память о времени, проведенном в стенах кенигсберг-

ской гимназии им. И. Канта. Старинное учебное заведение гордилось блестящим коллективом преподавателей, хранило гуманистические традиции; к 600-летию основания этого учебного заведения, который пришелся на 1933 год, гимназисты поставили «Персов» Эсхила на греческом языке.

²⁰ Bobrowski, Johannes. Fortgeführte Überlegungen // Johannes Bobrowski: Gesammelte Werke. B. 4. – S. 158–159.

²¹ В частности, «германские христиане» призывали к изъятию Ветхого завета, как «иудейской поделки», из канона Святого писания; члены Исповедальной церкви последовательно выступали за сохранение Библии в традиционной форме. В атмосфере разгула шовинистических страстей, пропаганды «чистоты» и превосходства арийской расы эта, на первый взгляд, чисто церковная полемика получила значение, далеко выходящее за рамки самого предмета. На собраниях членов Исповедальной церкви, во время богослужений, в специальной литературе, изданной для внутреннего пользования, цитировались ветхозаветные пророки; «прародители», носившие имена, шельмовавшиеся в рейхе, рассматривались как предтечи духовного освобождения личности.

²² Цит. по: Haufe, Eberhard. Einleitung. – А.а.О. – S. XIV.

²³ Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М.: Наука, 1977. – С. 465.

²⁴ Bischoff, Brigitte. Bobrowski und Hamann // Zeitschrift für deutsche Philologie, B.-Bielfeld-München. (1975). – Н. 4. – S. 554.

²⁵ Leistner, Bernd. Johannes Bobrowski: Studien und Interpretationen. – В: Rütten und Loening, 1981. – S. 79.

²⁶ Haufe, Eberhard. Einleitung. – А.а.О. – S. XIII.

²⁷ В своих литературно-эстетических трактатах, написанных в форме заметок, афоризмов, притч, Гаман выступил с позиций религиозного откровения против абстрактного рационализма немецкого Просвещения. Морально-дидактическим нормативным взглядам просветителей на личность, как на предсказуемый результат определенной системы воздействия, он противопоставил самобытную человеческую личность, живущую не столько по законам разума, сколько чувствами, страстями, аффектами. В них-то и проявляется, по Гаману, полнота человеческой личности, ее творческие силы.

²⁸ Schriften J.G. Hamanns. Ausg. und hrsg. von Karl Widmaier. – Leipzig. Insel-Verlag, 1921. – S. 141; S. 174.

²⁹ Ibid. – S. 26.

³⁰ Ibid. – S. 190, 166.

³¹ Ibid. – S. 192.

³² Чтобы понять Гамана, писал Гете, надо было «сойти за ним в его глубины <...> вместе с ним парить в вышине, овладеть образами, которые ему являются, или сыскать в бесконечной обширной литературе смысл какого-то одного места, на которое он достаточно туманно намекает <...>». И.-В. Гете, вспоминая о Гамане в зрелые годы в благодарном, но не лишенном иронии тоне, замечает, что ему, Гете, это оказалось не под силу. Гете И.В. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 3. Из моей жизни. Поэзия и правда. – М., 1976. – С. 434.

³³ В начале 50^х годов, по возвращении из плена, И. Бобровский пересматривает свои взгляды; он отходит от церкви, чем шокирует свою семью и друзей. Вскоре, однако, его духовное развитие пошло по прежнему руслу – он вернулся, как писал в письме к другу, к метафизическим размышлениям, к Гаману. См., в частности: Haufe, Eberhard. Einleitung. – А.а.О. – S. XXXVII.

³⁴ Ibid. – S. XXVII.

³⁵ См.: Манн Томас. Германия и немцы // Собр. соч. в 10 т. – Т. 10. – М.: Худож. лит-ра, 1961. – С. 320.

³⁶ Deskau, Dagmar. Dunkelheit und Engagement. Zur Gestaltung des Geschichtsbezuges in der Lyrik Johannes Bobrowskis. Dissertation. Mainz, 1973. – S. 145.

³⁷ Хронология лагерной жизни И. Бобровского дана по: Haufe, Eberhard. Zeittafel. Gesammelte Werke. B. 4. – А.а.О. – S. 512.

³⁸ См.: Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. – М.: изд-во Кулагиной. Intrada, 2008. – С. 167.

³⁹ На основе текста позднее был создан рассказ «В лагере военнопленных» («Im Gefangenenlager», 1951).

⁴⁰ Это своеобразное лирическое отступление автора, уже отдаленного во времени от описываемых событий, касается характера заметок, носящих произвольный или случайный характер, «словно я просто списываю с какой-то неразборчиво написанной доски моей памяти...». Bobrowski, Johannes. Die ersten Jahre der Gefangenschaft // Bobrowski, Johannes. B. 4. – S. 296.

⁴¹ Ibid. – S. 283.

⁴² Ibid. – S. 284.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid. – S. 298.

⁴⁶ Ibid. – S. 297.

⁴⁷ Ibid. – S. 299.

⁴⁸ Именно нелегальный лагерный антифашистский актив добился приезда авторитетного и уважаемого антифашиста К. Влоха, устранившего это недоразумение в лагере. См.: Kant, Hermann. *Abspann. Erinnerungen*. В.: Taschenbuch Verlag. 2003. – S. 350–351.

⁴⁹ См.: Рихтер, Ганс Вернер. *Разбитые* // Ганс Вернер Рихтер. *Избранное*. – М.: Радуга, 1987. – С. 219–221, 231–234, 239, 243.

⁵⁰ См.: Bobrowski, Johannes. *Die ersten Jahre der Gefangenschaft*. – А.а.О. – S. 271.

⁵¹ Ibid. – S. 295–296.

⁵² Ibid. – S. 276.

⁵³ Ibid. – S. 272.

⁵⁴ Bobrowski, Johannes. *Die ersten Jahre der Gefangenschaft*, а.а.О. – S. 294.

⁵⁵ Шахта ОГПУ была желанной целью ночных и дневных «разбойничьих набегов» как военнопленных, так и гражданских. Весь город носил резиновые подошвы, нарезанные из новеньких, ни разу не использованных транспортных лент. Начальники и мастера уносили домой строительный материал (дерево, кирпич, цемент, гвозди); шестьдесят тонн оконного стекла, присланные для сортировочных сооружений, пошли «на сторону», на остекление целых городских кварталов. Офицеры лагерной администрации использовали пленных для строительства своих домов с ванными и лепными потолками. С этим боролись, приезжали комиссии, устраивались суды, но результата не было. Мат, рукоприкладство, бытовой антисемитизм оставались повседневными явлениями.

⁵⁶ Ibid. – S. 292–293.

⁵⁷ Ibid. – S. 305. На этом фоне выделяется трагикомический эпизод, показывающий, чего в действительности стоили разговоры о «превосходстве, человечности и офицерской чести»: какой-то офицер, узнав о смерти в лазарете боевого товарища, должного ему рубль, «помчался во весь дух», чтобы забрать его из пожиток еще не остывшего тела друга. И лишь немногие осудили этот поступок, с горечью констатирует Бобровский.

⁵⁸ Ibid. – S. 313.

⁵⁹ См.: Haufe, Eberhardt. *Einleitung*. Bobrowski, Johannes. *Gesammelte Werke*. В. I. S XXXVII.

⁶⁰ См.: Манн, Томас. Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма. Пер. с нем. Е. Закс // Манн, Томас. *Собр. соч.*: в 10 т. – Т. 9. – С. 502.

⁶¹ Бобровский, Иоганнес. *Литовские клавиры*. Пер. с нем. Э. Львовой // Бобровский, Иоганнес. *Избранное*. – М.: Молодая гвардия, 1971. – С. 443.

МЕСТО ИНОСТРАННОГО КЛАССИКА В НАЦИОНАЛЬНОМ САМОСОЗНАНИИ: ШИЛЛЕР В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XIX И НАЧАЛА XX ВЕКА

Л.П. Фукс-Шаманская

Отто-Фридрих-Университет, Бамберг (ФРГ)

I

Образ Шиллера, иностранного писателя, пожалуй, наиболее органично вписавшегося в русский культурный контекст, сформировался в 1800-е годы в кружке молодых дворян Дружеского литературного общества – В.А. Жуковского, Андрея и Александра Тургеневых, А. Мерзлякова, А. Кайсарова. То, как они восприняли его творчество, имело не много общего с истинным немецким автором: элигизация и романтизация образа Шиллера способствовала созданию культурного мифа Шиллера как «прекрасной души» – с одной стороны, но и отважного борца с угнетением человека – с другой. В Дружеском литературном обществе эти два образа Шиллера существовали в единстве, хотя уже здесь намечалось некоторые различия в его оценке. Согласно Ю.М. Лотману¹, распад кружка был обусловлен противоречиями во взглядах его участников, одна группа которых была устремлена к революционно-политической, другая – к эстетическо-художественной деятельности. Можно соглашаться или не соглашаться с Ю.М. Лотманом в обосновании причин распада кружка², но в отношении к рецепции Шиллера эти противоречия имели большое значение. Уже к началу 1820-х годов в русском культурном пространстве существовали раздельно три варианта русского Шиллер-мифа: революционно-демократический Шиллер-миф, основанный, в первую очередь, на творчестве Шиллера-драматурга, и приветствовавшийся писателями декабристского направления (Кюхельбекер), а позже революционными демократами (Герцен) и разночинцами (Добролюбов, Чернышевский); романтический Шиллер-миф, ставший органичной частью, разработанного Жуковским (в значительной мере с помощью переводов стихотворений и баллад Шиллера) элегико-балладного раннего русского романтизма; и бытовавший в тривиальной литературе «разбойничий» Шил-